

АЛЕКСАНДР ИВАНИЦКИЙ (ALEXANDER IVANITSKIY)
Российский государственный гуманитарный университет
(Russian State University for the Humanities)

ОТ ПОЭТИЧЕСКОЙ НОРМЫ СЕНТИМЕНТАЛИЗМА К НОРМЕ «ПУШКИНСКОЙ ПЛЕЯДЫ»: ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ

From sentimental poetical norm to the norm of the Pushkin's pleiad: the ways of evolution

The rethink of the Nature's meaning is one of the ways from the sentimental poetical norm to the Pushkin's one. Having localized the Nature as the native land and native house, the lyrical hero of the sentimentalism perceives himself as the part of the genus. By the transformation of the native land in the motherland the lyrical hero revives, it's epical oneness with the folk and poetically joins as to the Nature as the moral ground.

Keywords: sentimentalism, Pushkin's norm, Nature, native land, moral ground

1.

Мотивно-смысловой код лирики Пушкина и так называемой «Пушкинской плеяды» чрезвычайно многогранен, и очевидно, что в русской поэзии к нему вели многие пути. Один из таких путей шел, по-видимому, через поэтическую перекодификацию концепта Природы – ключевого в прямой хронологической и мотивной предшественнице плеяды – лирике русского романтизма, где природа в гораццианском духе выступала единственно сохранившимся локусом утраченного золотого века и обителью подлинного чувства – основополагающего в романтизме. А отсюда – областью бегства лирического героя, стремящегося «...Оставить мир холодный, / Который враг чувствительным душам»¹, чтобы – «...в сельском крове мирном / Питать в груди своей чувствительность...» (Карамзин 1966, 172).

Казалось бы, по крайней мере, три ключевые позиции романтизма способны проявить. Позиции пушкинские по контрасту,

¹ Карамзин Николай: *Полное собрание стихотворений. Библиотека поэта*. Ленинград 1966. Далее ссылки на это издание – в тексте статьи. А.И.

так сказать, «от противного». Это сознательное ограничение своего бытия миром природы – и погружение в мир во всем его разнообразии; отсутствие либо факультативность усадебного локуса – и апология родовой усадьбы стержня природного мира; дистанцирование от эпикурейства – и приверженность ему, во многом вдохновленная тем же усадебным локусом; поиск в Природе отражение внутреннего «я» – и национальная (а иногда и героическая) маркировка той же Природы, связывающая поэта с социумом и народом.

Между тем, первый принципиальный шаг по преобразованию сентименталистской природы в условно «пушкинскую», по сути, был сделан в русле самого сентиментализма, опиравшегося, как известно, на 2-й эпод Горация. В нем недвусмысленно обозначался «сюзеренитет» лирического героя либо его друга в отношении «блаженного уголка» вдали от городов: «И виноград пурпуровый / Тебе, Приап, как дар, или тебе, отец / Сильван, хранитель *вотчины!*...»² [Здесь и далее курсив мой – А.И.].

Поэты, регулярно писавшие в русле сентименталистского дискурса либо готовившие его (А.П. Сумароков, М.М. Херасков, М.Н. Муравьев, И.И. Дмитриев, Н.М. Карамзин, В.В. Капнист и др.), локализовали природное убежище в качестве наследственного «феода»: «Ты любишь сень безмолвную Бернова, / И древний дом, и плодоносный сад [...] / И мельницы шумящий водопад...»³;

... Леса, поля широки / Твой дух утешат боле,
Чем здешние забавы... / Простое обращение
С своими поселяны... (Херасков 1961, 76)⁴.

Однако, забегаая несколько вперед, скажем, что для понимания вектора и итогового смысла этой перекодификации нам потребуются некоторые значения Природы в предшественнице русского сентиментализма – хвалебной оде барочного классицизма. В ней, как показывает Л.В. Пумпянский, стержневой общеевропейский мотив «территориального комплиментирования» [*от и до*] был радикально скорректирован двумя русскими вводными: огромной территорией страны и женским адресатом одической хвалы. Первая вводная [в силу разнообразия климатов и ландшафтов] уравнивала Россию с землей в целом: «Подвергнулось в твое подданство / Дотоль великое пространство / Что составляет целой свет»⁵ (Сумароков 1957, 111). А царствующая женщина позволила уравнивать ее с подвластной ей Россией / Землею в значении, тяготеющем к древнеславянской матери – земле.

² Гораций [Квинт Горация Флакк]: *Собрание сочинений*. Санкт-Петербург 1993.

³ Муравьев Михаил: *Стихотворения*. Библиотека поэта. Ленинград 1967.

⁴ Херасков Михаил: *Избранные произведения*. Библиотека поэта. Москва - Ленинград 1961.

⁵ Сумароков Александр: *Избранные произведения*. Библиотека поэта. Ленинград 1957.

Иными словами, царица земли подспудно преобразовывалась в царицу – землю:

О вы, счастливые науки! / Прилежны стирайте руки
И взор до самых дальних мест. / Пройдите землю, и пучину,
...И нутр Рифейский, и вершину / ...И сколько может, покажите,
Щедрою Елисавет⁶ (Ломоносов 1959, VIII, 401).

Елизавета, таким образом, оказывается тождественной «земле» и «пучине». В свою очередь, полученное через образ царицы значение матери-земли потенциально наделял одический концепт России как государства значением национальной почвы, – ставя народ, и в том числе автора, в отношения «эпической метонимии» с нею. Эта позиция, стадияльно предшествующая сентиментализму, своеобразно возродится по мере движения сентименталистской поэтической нормы к пушкинской.

2.

Локализация Природы как подначальной и родовой семантически преобразует две существенных составляющих русской сентименталистской позиции. Первая озвучена в *Дарованиях* (1796) – самом программном поэтическом трактате Карамзина. Подарив людям поэзию, Творец тем, самым, побудил, чтобы – «...Рассудок, чувством пробужденный, / Открыл порядок неизменный / В различных года временах...» (Карамзин 1966, 216). И у Муравьева – «...Все года времена имеют наслажденья...» (Муравьев 1967, 137).

Вследствие этого диалог с Природой [«сочувствие» ей] становится магистральной для сентиментализма формой рефлексии человеком своей жизни во времени. Так, осень года знаменует осень жизни:

...Ах! скоро, милый друг, неистовый Эол
Помчится на крылах, шумящих с гор на дол.
День, два – и, может быть, цветочка не застану...
День, два – и, может быть... как знать?... и сам увяну!
(Дмитриев 1967, 122-123).

Это делает сентиментальное «сочувствие» природе катарсисом прошлых утрат:

...Кто ж милых не терял? Оставь холодный свет
И горечь разделяй с унылыми древами,
С кристаллом томных вод и с нежными цветами...
(Карамзин 1966, 92)

⁶Ломоносов Михаил: *Полное собрание сочинений* Тт. I-X, т. VIII. Москва – Ленинград 1959, с. 401.

В итоговой, по сути, элегии Карамзина *Меланхолия. Подражание Деллию* (1800) это рождает сладость «осенних» [условно «старческих»] воспоминаний об утраченном прошлом, что мотивно предваряет апологию осени в одноименном «отрывке» Пушкина:

...О Меланхолия!.. / ...Не шумные весны любезная веселость,
 Не лета пышного роскошный блеск и зрелость
 Для грусти твоя приятнее всего, / Но осень бледная...
 ...Веселие твое – задумавшись, молчать / И на прошедшее взор нежный обращать
 (Карамзин 1966, 260-261)

Схоже у Дмитриева: «...Филомелу вспомню я. / С нею вместе унываю / И доволен, что грущу!..» (Дмитриев 1967, 124).

Радикальной формой такого сладостного переживания утрат в «переходной» [осенней] Природе становится элегический диалог Карамзина *Кладбище* (1792). Герой воссоединяется с утраченным прошлым через необратимый переход в кладбищенскую Природу, где

...струится в воздухе светлом / Пар благовонный синих фиалок,
 Белых ясминов, лилей... / ...Странник усталый видит обитель
 Вечного мира – посох бросаю, / Там остается навек (Карамзин 1966, 114).

У Дмитриева, в свою очередь, именно Поэзия утверждается стержнем такого перехода: «...Пойду я с лирой в те места, / Где сном дарит природа вечным, / Где спит и скорбь, и суета...» (Дмитриев 1967, 345).

Природный локус, ставший не просто родным, но родовым домом, помогает лирическому герою осознать смену поколений как собственное приобщение роду [через землю] и продолжения его собою:

...Покрытый тенью теремок... / ...Усталого зовет к покою...
 Как мрамор, белые кресты. / Благоговенье! Молчалива...
 ...предметов речь / Гласит: “Ты зришь своих предтеч,
 Священна се господня нива: / Ты должен сам на ней возлечь”⁷
 (Капнист 1973, 264)

Соответственно, человеческая жизнь предстает описанием круга – юношеским выходом из родного / родового «лона» и старческим возвращением в него:

...Скоро ль отческие воды / Нас увидят наконец?
 ...Ах, уклонимся ж хоть летом / Древ домашних мы под тень...
 “...Было время, что играли / Здесь под тенью мы густой –
 Вы цветете... мы увяли! / Дайте старости покой”
 (Дмитриев 1967, 123)

⁷ Капнист Василий: *Избранные произведения*. Библиотека поэта. Ленинград 1973.

Это рождает в лирическом герое способность радоваться в старости чужой весне как смене поколений. Вслед за уходящим лирическим героем его род [и именно в лице рода – род человеческий] наращивается приходящим потомством:

...приди, весна!.. / Хотя в свете счастьем мне своим
Нельзя уж наслаждаться, / Так, вспомня преждее, — чужим
Я буду утешаться (Капнист 1973, 249)

Это преобразование сентименталистской позиции в поместной анакреонтике, которое можно назвать освоением природы по вертикали, «вглубь», получает свое программное завершение в пушкинской лирике. Так, строфа «Два чувства дивно близки нам...» (1830) объединяет в качестве «животворящей святыни» «Любовь к родному пепелищу, / Любовь к отеческим гробам» (Пушкин 1949, III, 214)⁸. Финальный «ночлег» жизненной дороги соединяет значения родного дома и родового погоста. В *Дорожных жалобах* отчий дом и вовсе предстает «...наследственной берлог[ой], /...среди отческих могил» (Пушкин 1949, III, 123), то есть укоренен в земле наряду с ними. А в элегии *Стою, печален, на кладбище...* (1834) последнее обозначается тем же эпитетом («святое смерти пепелище»), каким ранее именовался отчий дом «родное пепелище». Именно в качестве «наследственной берлоги» дом выступает «кладбищем родовым». В «наследственной берлоге» лирический герой Пушкина сопоставляется «родовому» времени через природу, землю, где среди – «...камней вековых, покрытых желтым мохом... / Стоит широко дуб над важными гробами, / Колеблясь и шумя...» (Пушкин 1949, III, 375). Поэт желал бы «...ближе к милому пределу / ...почивать», поскольку тот соединяет необратимую смену поколений рода с обратимым природным круговоротом, – выступая колыбелью будущих колен и этим отчасти перенося бессмертие природы не только на род, но и на лирического героя как его часть:

...И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа / Красою вечною сиять (Пушкин 1949, III, 134)

Лирический герой элегии Пушкина *Вновь я посетил тот уголок земли...* (1835) осознает смену людских поколений в родном гнезде: «...Вот опальный домик, / Где жил я с бедной нянею моей. / Уже старушки нет...» - сквозь призму той же смены в природе. Вокруг трех сосен, памятных герою с детства, – «...младая роща разрослась, / Зеленая семья, кусты теснятся / Под сенью их, как дети...». Через взросление этого «плем[ени] / Младо[го], незнаком[ого]» поэт мысленно связывает себя с потомком, который о нем «вспомынет», услышав «приветный шум» сосновой рощи

⁸ Пушкин Александр: *Полное собрание сочинений*. Тт. I-X. Москва – Ленинград 1949.

(Пушкин 1949, III, 345). Память дворянина о своем роде становится для Пушкина условием духовной и социальной свободы и культуры. А история понимается как преемственность поколений, замыкаемая в родовом гнезде.

Второй вектор – условно «вширь» – знаменует раздвижение родовой природы [«отчины»] до природы – родины и «отчизны». С одной стороны, к этому подводят «радиальные» прогулки «владельческого» лирического героя из родного «угла» в места, не принадлежащие, но прилежащие ему:

...взявши посох в руку, / В полях и по горам рассеиваю скуку...
 Разнообразности природы там дивлюсь...
 ...Люблю с угрюмых скал гремящи водопады;
 Люблю и озера спокойный, гладкий вид,
 Когда его стекло вечерний луч златит... (Дмитриев 1967, 122-123)

Под пером Пушкина эти прогулки связывают «укоренение» в родном **углу** с приобщением родному **краю**:

...знаешь: не велеть ли в санки / Кобылку бурую запречь?
 ...предадимся бегу / Нетерпеливого коня
 И навестим поля пустые, / Леса, недавно столь густые,
 И берег, милый для меня (Пушкин 1949, III, 128)

С другой стороны, в преобразовании Природы – «отчины» в Природу – «отчизну» соучаствует уравнение светской жизни с безумным море/плаванием: «...Одни шумящими рулями / Рассекли пену дальних вод...» (Карамзин 1966, 364-365); «...Купцы в моря глубоки / За златом пусть плывут...» (Капнист 1967, 124-125). Это рождает риторический вопрос: «...Почто от пристани пускаться / Во треволнений океан...» (Дмитриев 1967, 364-365) – и наделяет сушу / землю атрибутами доцивилизационной Природы и значением родины людей – в противовес столице: «...Я не в отчизне, в Москве обитаю, / В жилище сует...» (Дмитриев 1967, 117). Это приводит к риторическому вопросу: зачем –

...в путь дерзая преткновенный... / ...Семьи чуждаться и друзей
 И новых солнечных лучей / Искать под чуждым небосклоном?..
 (Капнист 1973, 148-150).

А Природа – «родина» сливается с родиной как таковой: «...Уйдет ли путник от себя, / Коль из отчизны удалится...» (Капнист 1973, 149); «...Мать-родину свою оставишь, / Но от себя не убежишь...» (Капнист 1973, 364-365).

Наделение «суши» значением родины – как малой, так и национальной – снимает сентименталистскую оппозицию столицы

и глубинки. Уже у Хераскова московская [оставленная другом!] идиллия подобна деревенской:

...стены града, / Которы орошает / Москва своим теченьем;
Брега... зелены, / Луга, прекрасны рощи, / Усыпанны красами,
Где, кажется, и воздух, / Прельщенный ими, дышит...

При этом оппозиция Москвы сельской идиллии снимается демонстративно. Автор пеняет другу, который –

...сей град оставил, / В уединенье скрылся! / Иль сельские пастушки
...И игры полевые / Тебе милее наших?.. (Херасков 1961, 76-79).

У Дмитриева та же Москва предстает как новообретенные «отеческие лары»:

В Москве ль я наконец? со мною ли друзья?
...Итак, еще имел я в жизни утешенье
Внимать журчанию домашнего ручья,
Вкусить покойный сон под кровом, где родился,
И быть в объятиях родителей моих!
...Прочь посох! не хочу вас боле покидать... (Дмитриев 1967, 154-159).

В результате плавание из метафоры фатального удаления от земли / родины превращается в ключевую форму приобщения ей. Воплощением России и русской шири устойчиво выступает Волга: «Дай, небо, праздность мне, но праздность мудреца, / ...И слезы радости, как, став за волжску волну, / На персях лучшего покоюся отца» (Муравьев 1967, 182).

Путешествие/плавание с малой родины [Вологды] в Петербург последний выступает такой же самобытной частью общерусского ландшафта и потому воспринимается в том же эмоциональном регистре:

...Уже церковей твоих сокрылися главы,
О Вологда! Поля, лишены травы,
Являют сентября дыхание сурово...
...Но нас повсюду ждет друзей свиданье ново.
Пространство новое пред нами разверзлось,
Где Ухра быстрая приносит дар Шексне... (Муравьев 1967, 143).

Центробежное движение сентиментального эскаписта превращается в круговое путешествие/плавание, в котором суша и вода иновыражают и питают друг друга. Теперь центр находится везде, а периферия – нигде. Логической вершиной такого освоения национальной природы «вширь» выступают путешествия главных героев *Евгения Онегина*: брачное [то есть жизненно – необратимое] путешествие Татьяны в Москву и «общерусское» путешествие как самопознание Онегина.

3.

Важно иметь в виду, что сентименталистское бегство из мира цивилизации в мир природы предстает в двух видах – отшельническом: «...Сокроюся в лесах я темных / Или во пропастях подземных... / Я светской наглости терпети не могу...» (Сумароков 1957, 92), - и эпикурейском, основанном в основном не упоении Природой, где можно – «...странствовать в кустарниках цветущих / И слушать соловьев, в полночный час поющих...» (Муравьев 1967, 159-160).

Эпикурейское бегство перешло в новое качество в послании Г.Р. Державина *Евгению. Жизнь Званская* (1807), утвердившем особую, «поместную» линию эпикурейского эскапизма. У Державина природа еще демонстративнее предстает не просто положительным антитезом цивилизации, но владением автора, где «...крестьянских рой детей / Сбираются ко мне...»⁹ (Державин 2002, 385). Но горацянские мотивы удаления из столицы в родовое гнездо: «Зачем же в Петрополь на вольну ехать страсть...» – Державин соединил с эпикурейской апологией радостей жизни в собственном поместье. Наслаждение / любование Природой: «Зрю на быстрину зарь, на солнце восходяще...» – совершается в том числе «...искусство через коварства» – «...Иль в стекла оптики картинные места / Смотрю моих усадеб; на свитках грады, царства...». **Пиршество**: «...Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут, / Идет за трапезу гостей хозяйка с хором...» есть апология еды своей / отечественной – «...что представляет Русь, / Припас домашний, свежий, здоровой». Ср. схожую апологию поместного пира у Муравьева: «...раза два прошедши<х> по аллее, / Не ждет ли нас обремененный стол, / Во светлой сей большой оранжерее...» (Муравьев 1967, 199-200). Державинская снедь, между тем, предстает в том числе и плодами увеселяющей **охоты**: «...То дичь громим свинцом, / То зайцев ловим псов станицей». Домашние **игры**: «...Пернатый к потолку лаптой мечу леток / И тешусь разными играми...» – переходят в созерцание домашних **представлений** – «...Амурчиков, Харит плетень иль хоровод... / Цветочные венки пастух пастушке вьет...» (Державин 2002, 383, 385-387). Эти поместные радости по-своему суммируются Капнистом: «Я здесь отрадами одними / Теченье мерю тихих дней...» (Капнист 1973, 260-263).

У упоминавшегося 2-го эпода Горация сентименталистское бегство в Природу наследует «трудовую» составляющую. Отшельник столичного мира, *Забыв и форум, и пороги гордые...*, –

...В тиши... мирно сочетает саженцы / Лозы с высоким тополем,
Присматривает за скотом, пасущимся / Вдали, в логу заброшенном...
(Гораций 1993, 187).

⁹Державин Гавриил: *Сочинения*. Новая Библиотека поэта. Санкт-Петербург 2002, с. 385. Далее ссылки на это издание – в тексте статьи. А.И.

Но в «поместно-сентименталистском» эпикурействе Державина сельский труд заменяется созерцанием, – «...как вдали сверкает луч с косы... / Жнецов поющих, жниц полк идет с полосы...» (Державин 2002, 388). Ср. у Муравьева:

... из терема... / Повсюду мирное свое владенье зришь...
...Спешат кругом тебя прилежные селяне...
С зарею восстают восхода солнца ране,
Железом воружась блистающих серпов... (Муравьев 1967, 194).

Дмитриев признается, как –

...новую для глаз картину нахожу: / Открытые поля под золотою нивой!
Везде блестят серпы в руке трудолюбивой!..
Ах! я и сам готов за ними вслед лететь!.. (Дмитриев 1967, 122-123).

Стремление, однако, остается в намерении. Подоплека состоит, очевидно, в «поэтически-фантазийном» потенциале блаженного безделья в родовом «феоде». Державин в том же послании *Евгению*... резюмирует свой рассказ о дне, полном сельских усад описанием вечера, когда – «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум? / Мимолетящи суть все времени мечтаны...» (Державин 2002, 389).

В этом «поэтическом» качестве безделье как «недеяние» трансформируется в его блаженное переживание: **лень** – источник как духовной, так и поэтической свободы:

Итак, опять убежище готово, / Где ленисти свободно лъзя дышать.
Под сень свою, спокойное Берново, / Позволишь мне из Твери убежать...
(Муравьев 1967, 199-202).

И у юного лицеиста Пушкина именно лень в родном / родовом имении становится программным источником фантазии и воображения начиная с *Послания к Юдину* (1815), эпитафией для которого поэт выбрал строку из послания Державина *Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?*. Рассказывая адресату, «...что в юности златой / Воображение мне кажет...», он непреложно связывает его с временем, «...Когда в покое лень, / Укрыв меня в пустыню сень, / Своею цепью чувства вяжет...» (Пушкин 1949, I, 168). Именно тогда –

...быстро привиденья, / Роясь в волшебном фонаре,
На белом полотне мелькают; / Мечты находят, исчезают,
Как тень на утренней заре... (Пушкин 1949, I, 171).

В *Сне* (1816) лень для Пушкина уже источник не просто поэзии, но поэтической нормы: «...Приди, о лень! ...в мою пустыню... / Учи меня, води моей рукой...», – но по-прежнему непреложно связываемый

с уголком в глуши: «Хотите ли забыться... / В объятиях игривого мечтанья? / Спешите же под сельский мирный кров... (Пушкин 1949, I, 184-185).

Рождаемая ленью поэтическая фантазия преобразует родовую идиллию в двух противоположных направлениях. С одной стороны, она предстает хронотопом «золотого века» античности, –

...где в замерзлом ручейке / Видался каждый день с Наядой;
Где куст, береза вдалеке / Казались мне гамадриадой;
А дьяк или и сам судья / Какой-нибудь Цирцей жертвой.
...как могучий чародей, / Натурою повелеваю... (Дмитриев 1967, 252-254).

Показательно, что на такое преобразование лирического героя Муравьева вдохновляют наблюдения вечерних игр поселян, наследующих их столь же «идиллическому» дневному труду:

...Смиренна Тьма... / Меж берегов крутых струишься плавно.
Маня к себе нимф сельских для игры... / ...Конечно, то живущи здесь дриады
Иль феи здесь свой держат хоровод. / Летайте вкруг, мечтания, отрады,
В охране древ, у падающих вод... (Муравьев 1967: 201-202)¹⁰.

С другой стороны, Природа родового угла, последовательно осознаваемая как родной край и родина, канализует поэтическую фантазию в фольклорное русло «старинных басен»:

Хочу – и зрю толпу людей, / За тридевять земель лежавших
Два века в мать сырой земле, / В их прежнем образе представших
Глазам моим в прозрачной мгле... (Дмитриев 1967, 252-254).

...Томленье на очи нападало. / Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты... / Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыв сладких дум; В глуши лесной, срет муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней, / И в вымыслах носился юный ум...
(Пушкин 1949, I, 190)

¹⁰ Отсюда временем поэтического преобразования родового угла в хронотоп античного золотого века предстает юность самого лирического героя:

...В свирели мы с тобою / Играли иногда... / Там сельские дриады / Плясали вкруг тебя...
...Тебя тогда прельщали / Природы красоты... (Херасков 1961, 92-93).

Оно противопоставляется «железному веку» зрелости в городском мире как хронотопа мнимого эпикурейства:

...Теперь уже сокрылись / Дриады по лесам, / Места переменялись, / Ты стал не тот и сам...
...Вельможи тамо пышны, / Там хитрые друзья, / Отсюда лести слышны... / Спокойна ль
жизнь твоя?.. (Херасков 1961, 92-93).

Поэтому возврат к подлинному эпикурейству в родном углу, – по сути, возврат в юность:

...Где я мечтами забавлялся, / Где лютой всех знобил мороз;
А я лежал средь нежных роз / И ароматом их питался...

...Отдай мне суеты ребячества, доставь

Еще мне счастье зреть старинны басни вьявь... (Муравьев 1967, 238).

Такому поэтическому погружению в фольклорную стихию способствуют сначала подспудно, а затем и явно национальные коннотации зимы. Именно в родном углу желание зимы в одноименной элегии Муравьева [1776] подразумевает приближение истинно «русского» состояния природы:

...Приди скорей, зима... / ...И с играми спешу со пляшущей толпою
Со праздностью своей... (Муравьев 1967, 158-159).

Эти значения зимы развиваются все в той же пушкинской *Осени*. В то же время в философско-элегическом посвящении А.А. Дельвига зиме [1812/1813] ее родовая связь с россиянами приобретает эпический характер:

...любишь ты народ, с которым обитаешь,
Блудешь, как нежных чад, от бури укрываешь,
Лишь в него любовь и грудь его крепишь... (Дельвиг 1986, 81).

Очевидно, поэтому бесы, являющиеся герою одноименной пушкинской элегии [1830] в бурном пути и в финале «Визгом жалобным и воем / Разрыва[ют] [ему] сердце...» (Пушкин 1949, III, 178), предстают уже не родовыми предками, а духами зимней [то есть русской] природы. То есть не просто личными, но национальными пращурами героя.

Таким образом, локализовав Природу в «родном углу» лирический герой сентиментализма и затем – «поместного эпикурейства» осознает себя в хронотопе рода. Преобразуя Природу – «отчину» в Природу – «отчизну», он, с одной стороны, возрождает ее заданное хвалебной одой эпическое тождество как народу, так и цивилизации [снимая этим сентименталистскую оппозицию столицы деревне], а с другой – поэтически приобщается ей как духовной почве.

4.

Наряду с описанной поэтической линией, где столица выступает своего рода «сгущением» национального ландшафта, в русле сентиментализма развивается другая, где та же столица знаменует иной поведенческий модус. Для лирического героя Карамзина страсти, оставаясь непреложным атрибутом большого / столичного мира, уже не разрушают личность:

...Пусть строгий муж Зенон в утрюмости своей
Кричит, что должно жить нам в свете без страстей...
Учению сему в архивах оставаться, / В сердца ж вовеки не входить...
(Карамзин 1966: 173)

У Муравьева страсти выступают незаменимой формой ее воспитания и развития. Его лирического героя в столицу влечет –

...Надежда, что в сердцах у юношей живет,
Мечтаниями мне наполнила весь свет...
...Петрополь я узрел, и радостей пьянство
Из чаши полныя, счастливый отрок, пил.
...На каждой находил стезе очарованья...

При этом «радостей пьянство» оказывается неотделимым от со- деятельности и сочувствия другим: «...Всех другом быть хотел, со всеми соглашался...», – и открытости миру для его познания и соучастия во всем и вместе со всеми: «Всё чувствовать, всё знать и делать покушался... / Со откровением дотоль нечувствованных сил...». В столичном светском мире непреложно связаны между собою «...надежды счастья, надежды просвещения». Отсюда необходимо сочетаются – «...знакомства, суеты / И добродетели высокие черты...», которые равно «Глубокие в душе влиянья оставляли...» (Муравьев 1967, 203-207). Т. о., снимается программная для сентиментализма антитеза жизнетворного «чувства» и губительной «страсти».

Отсюда у Дмитриева эталонной [предписываемой] добродетелью становится сочетание «просветительского» ума и сентименталистского чувства - со светскостью: «.....Будь честен, будь умен, чувствителен... / Приятен, мил...» (Дмитриев 1967, 126).

Это, в свою очередь, наделяет новыми смыслами родной угол: прощание с ним и возвращение в него. *Отъезд* М. Дмитриева воспеваает добровольное оставление родного / родового эпикурейского приюта ради службы:

...Простите, Лары и Пенаты! / ... время... / На быстрых крыльях своих
Мечты, утехи все уносит... / ...Прощай, отеческий мой дом!
Прощайте, грации и музы!.. / ... Пройдет недели две, не боле,
И я уже на чистом поле / Лечу на тройке, как зефир.
Удалы мчат, закинув гривы, / Земля бежит, и пыль столбом!
О Марс! о честь! о святость долга!.. / ...Скачу, скачу... маршировать¹¹.

В этом контексте Волга из общенационального измерения родины передвигается в статус одного из «маркеров» оставляемого родного угла: «...*прощай и ты, о Волга!*» (Дмитриев 1967, 252-254) [Курсив М. Дмитриева – А.И.].

¹¹ Ср. финал лицейского *Послания к Галичу* (1816) Пушкина:

...близок грозный час, / Когда, послыша славы глас...
...Надену узкие рейтузы, / Завью в колечки гордый ус,
Заблещет пара эполетов, / И я – питомец важных Муз -
В числе воюющих корнетов! (Пушкин 1949, I, 121-122).

В свою очередь, у Карамзина это меняет значения возврата в родной угол, который предстает рубежом жизненного движения уже не по кругу, а по спирали развития (стержень которого в жизни в целом составляет смена поколений внутри рода). В старости любовь утешает в родной глуши от горестей большого мира: «Она приятностью своею / Украсит запад наших дней...» – но обретается она благодаря этим пережитым тяготам:

...Отелло в старости своей / Пленил младую Дездемону...
И мы, любезный друг, с тобою / Найдем подругу для себя...
...Беседа опытных людей, / Их басни, повести и были
[Нас лета сказкам научили!] / Ее внимание займут,
Ее любовь приобретут... (Карамзин 1966, 136-139)

Эти значения возврата в родной угол в конце жизненного пути как необратимого личностного развития выйдут, очевидно, на новый уровень в пушкинском послании *Вельможе* (1830), где им наделено юсуповское Архангельское. Но это предмет уже другой статьи.

ЛИТЕРАТУРА

- Гораций [Квинт Горация Флакк]: *Собрание сочинений*. Санкт-Петербург 1993.
- Дельвиг Антон: *Сочинения*. Ленинград 1986.
- Державин Гавриил: *Сочинения*. Новая Библиотека поэта. Санкт-Петербург 2002.
- Дмитриев Иван: *Полное собрание стихотворений*. Библиотека поэта. Ленинград 1967.
- Капнист Василий: *Избранные произведения*. Библиотека поэта. Ленинград 1973.
- Карамзин Николай: *Полное собрание стихотворений*. Библиотека поэта. Ленинград 1966.
- Ломоносов Михаил: *Полное собрание сочинений*, тт. I-X. Москва – Ленинград 1959.
- Муравьев Михаил: *Стихотворения*. Библиотека поэта. Ленинград 1967.
- Пушкин Александр: *Полное собрание сочинений*, тт. I-X. Москва – Ленинград 1949.
- Сумароков Александр: *Избранные произведения*. Библиотека поэта. Ленинград 1957.
- Херасков Михаил: *Избранные произведения*. Библиотека поэта. Москва – Ленинград 1961.